

Мужчина меня, разумеется, любит.
Тому подтверждение роскошный подсолнух,
который, робеючи, как первоклассник,
он дарит мне – будто бы на семена.
Мужчина меня, разумеется, любит.
Тому подтверждение долгие взгляды,
которые он, чуть краснея, отводит,

едва я в ответ поднимаю глаза.
Мужчина меня, разумеется, любит.
Чтоб это понять, не нужны подтверждения.
Но я рядом с ним безнадежно робею,
ни словом ответить ему не могу.
Увы, нам давно безнадежно за сорок.
Робею девчонкой тринадцатилетней,
как будто и не было там, за плечами,
победной и радостной женской судьбы.

Олег Маслов

Стихи Олега Маслова регулярно печатались в нашем альманахе в 1960-е – 1990-е годы. За это же время вышло девять его книжек. А в «Приамурье-98» он впервые выступил не как поэт, а как прозаик, с подборкой «Точка опоры. Невыдуманные врачебные рассказы». Напомним, что Олег Константинович – не только один из первых амурских литераторов, принятых в Союз писателей, но и врач с огромным опытом, кандидат медицинских наук, доцент, основатель анестезиологической службы в Амурской области. Нынче мы публикуем его мемуары – как врачебные, так и туристские. Те и другие невыдуманные. А впрочем, Олег Константинович прав: жизнь порой сама такое выдумает, что только поворачивайся записывать.



Мемуары

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

(Из воспоминаний анестезиолога)

Анестезия, реанимация, интенсивная терапия... - кому нынче неизвестны, непонятны эти слова? Каждый знает, что, если родственник или знакомый попал в «реанимацию», - это означает, что жизнь его в опасности, он нуждается в особых методах лечения, и судьба его в буквальном смысле находится в руках врача, имя которому анестезиолог-реаниматолог. Многие «сердечники» прошли через БИТы (блоки интенсивной терапии), которые вернули их к нормальной жизни. Что до хирургов – то сегодня практически нет такой операции, которую они не смогли бы сделать с помощью анестезиолога.

Но так было не всегда. Не в стародавнем прошлом – всего сорок пять лет назад, заканчивая институт, я таких слов, как «реанимация» и «интенсивная терапия», не знал. Но как раз в пору начала своей врачебной деятельности мне и довелось сделать первые шаги в освоении и внедрении новых методов анестезии, реанимации и интенсивной терапии в практическое здравоохранение Приамурья.

Хорошо, когда твоя человеческая молодость совпадает с молодостью дела, которое становится главным в твоей жизни. У обоих – все впереди, все внове, все загадочно и интересно. И теперь, когда много-много лет спустя видишь, что все твои старания, включая родовые муки и болезни роста, не ушли в песок, а попали в благодатную почву и дали зрелые плоды, хочется и самому вспомнить, и другим рассказать, как все это начиналось.

Почти все, о чем рассказано в этих мемуарных очерках, в свое время было мною описано и опубликовано в центральных и местных медицинских изданиях в виде научных статей и случаев из врачебной практики. Но там – только сухая информа-

ция, представляющая чисто профессиональный интерес. Здесь же я ставил целью рассказать читателю, как, кем и при каких обстоятельствах совершались наиболее запомнившиеся мне события того начального, поистине романтического периода в становлении нашей специальности, и самому еще раз окунуться в то золотое время теперь уже сбывшихся юношеских мечтаний и надежд.

Первая победа

В то утро я замешкался в операционном блоке и вошел в кабинет главного врача для сдачи дежурства тогда, когда уже начали отчитываться терапевты. Обычно Марина Васильевна хирургов и анестезиологов отпускала первыми, поскольку они всегда спешат в операционную, но теперь пришлось ждать, пока отчитаются все. Поглядывая на часы, я не очень вникал в смысл того, о чем говорили коллеги из соседнего корпуса, как вдруг невольно меня задело за живое сообщение дежурного врача о том, что в нервном отделении не сегодня-завтра умрет больной П. – от прогрессирующего паралича, который, обездвижив руки и ноги, добрался уже и до его дыхательных мышц.

Мой интерес к этому больному вначале удивил невропатологов, поскольку они относили меня к хирургической касте и до сего времени наши пути нигде не пересекались. Но когда я напомнил им еще свежую в памяти, облетевшую весь мир историю с академиком Ландау, который после автодорожной травмы месяц находился на аппаратном дыхании, и когда сказал, что мы недавно получили два автоматических респиратора, способных заменить естественное дыхание человека на длительное время, они, еще не в силах представить реальное свершение

такого «чуда» в своем доме, с восторгом ухватились за эту идею и тотчас повели меня к больному.

К тому времени у нас уже было образовано анестезиологическое отделение (два врача и пять сестер), и мы, используя в операционной миорелаксанты, владели ручным управляемым дыханием с помощью мешка наркозного аппарата. А месяц назад получили первые портативные респираторы «ДП-2» и тоже опробовали их в продолжении 1-2 часов. Но это были кратковременные замены самостоятельного дыхания больного во время интубационного наркоза, без которого он, хоть и в худших условиях, все же мог обойтись. Что же касается длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по жизненным показаниям, когда она по существу продлевает жизнь человека на дни, недели и месяцы, то это не только для невропатологов, но и для нас представлялось увлекательной фантастикой, которую не терпелось сделать былью. Вера в успех подогревалось и тем, что, помимо случая с Ландау, я знал, что в центральном НИИ неврологии на искусственном аппарате дыхания вот уже 2 или 3 года находятся две женщины, перенесшие полиомиелит, приведший к параличу дыхательных мышц. Но если такое получается в столице, то почему бы не попробовать и у нас?!

В общей палате нервного отделения на функциональной койке в полусидячем положении находился крепко сложенный, но теперь обездвиженный, весь обмякший тридцатилетний мужчина. Рядом с койкой в изголовье стоял синего цвета большой металлический баллон, из которого от редуктора по желтой резиновой трубке, пробулькивая через воду в герметично закрытой банке, шел к носу больного кислород. Однако это почти ничего не меняло в его тяжелом положении. Из дыхательных мышц работала только диафрагма, и от ее частых движений в груди все клочкотало из-за невозможности откашлять скопившуюся в избытке мокроту. Больничная парикмахерша Шура Савченко успела до нашего прихода его побрить, и теперь, на фоне мертвенной бледности лица, недобрым знаменем отсвечивала синева губ и носогубного треугольника. Единственным контрастом всему отживающему в облике этого человека были глаза, которые, увидев новое лицо, с последней надеждой впились в меня и ждали моих спасительных действий.

Стало очевидным, что в первую очередь, для облегчения состояния больного, необходимо срочно очистить его трахею и бронхи от скопившейся в них вязкой слизи и сделать их свободно проходимыми для воздуха. А поскольку о бронхоскопе мы тогда только мечтали, то единственно верным способом в достижении этой цели было наложение трахеостомы. Кроме того, для проведения операции и очень вероятного последующего перевода больного на ИВЛ надо было переместить его в отдельную палату. Таковой в нервном отделении не нашлось, и только с помощью главного врача удалось вселить больного в изолятор терапевтического отделения на третьем этаже.

После наложения трахеостомы и тщательной санации трахео-бронхиального дерева с помощью электроотсоса дыхание и состояние больного настолько улучшились, что решено было оставить его пока на спонтанном дыхании, приготовив, однако, все для немедленного перевода на управляемое и установив постоянный индивидуальный пост анестезистки.

Прошедшие сутки подтвердили наши худшие опасения — экскурсии диафрагмы уменьшились до такой степени, что единственным спасением пациента стал перевод его на управляемое дыхание, и в полдень 30 июня 1961 года мы включили аппарат и соединили его с трахеотомической трубкой. Правда, через несколько часов нам пришлось изменить методику ИВЛ, поскольку трахеотомических трубок с надувными муфтами у нас не было, а обычные не обеспечивали герметичности системы. Но это были технические детали, с которыми мы успешно справились. Главным было то, что непосредственная угроза гибели больного была отведена — легкие дышали, артериальное давление и пульс нормализовались, он порозо-

вел, «подсох» и сразу же уснул, а, проснувшись, удивленно смотрел вокруг, как после второго рождения.

Мы тоже удивлялись и радовались вместе с ним, хотя уже первые сутки принесли нам много хлопот. Главной из них стала проблема кислородного обеспечения. Дело в том, что аппарат «ДП-2» устроен так, что кислород при его работе используется не только как дыхательный газ, но и как энергетическая сила, и баллона при таком его расходе хватает максимум на 5-6 часов. Никакой централизованной системы подачи газов в ту пору не было и в помине, и пришлось ночью собирать баллоны со всех больничных корпусов и на плечах носить их на 3-й этаж, потому что лифта в терапевтическом корпусе областной больницы тогда тоже не было.

Кое-как дотянули до утра, и с приходом хозяйственников срочно отправили машину за кислородом (благо, что в те времена по субботам все службы города, в том числе и кислородная станция, работали), а сами, сдав больного из рук в руки «свежим силам», изможденные тяжким трудом и бессонной ночью, пошли отчитываться в кабинет к главному.

Там нас встретили как героев. Ведь подумать только — человек без собственного дыхания прожил целые сутки, жив сейчас и будет жить дальше!

Нынче этим никого не удивишь, но тогда такое случилось у нас впервые. И это было единственное безоблачно-радостное утро, исполненное гордости за содеянное и благодарности судьбе за ипостась врача. А на горизонте уже клубились тучи.

Оставив у больного свою однокурсницу Нелю Забрянскую и проканителювшись в больнице почти до вечера (два наркоза, заготовка кислородных баллонов, медикаментов на двое суток и т. д.), кое-как добрался я до дома. А наутро снова был у больного.

Ни о каком воскресном отдыхе, конечно же, не могло быть и речи. Вместе с Нелей мы всерьез задумались, что делать дальше. Больной тяжелеет, и стало ясно, что наша постоянная круглосуточная помощь понадобится ему еще многие дни, а, может, и недели. И хотя главным, что связывало нас с ним, было искусственное дыхание, но и помимо этого на наши плечи легло множество забот. Ведь парализованного, не дышащего и не глотающего человека надо было кормить, поить, клизмить, мыть, спасать от пролежней, пневмонии и других возможных осложнений. Более того, поскольку он был в сознании, с ним необходимо было общаться, поддерживать его веру в выздоровление. А нас было всего 2 врача и 5 сестер. Причем основная наша работа была в операционной, а то, чем мы занимались здесь, даже не входило в наши служебные обязанности — это был наш добровольный крест, который нам вручила сама жизнь.

Конечно, в больнице было много людей, готовых нам помочь, но поскольку никто из них не владел умением проводить ИВЛ, нам ничего не оставалось, как благодарить их за добрые намерения и самим бороться за его жизнь до конца. Поэтому, начиная со второго дня, рядом с кроватью больного был поставлен топчан, составлен график сестринских дежурств, и началась поистине фронтовая жизнь.

Когда в понедельник я пришел на отчет, коллеги встретили меня так же радостно, как и прежде, но радость эта была разбавлена сочувствием — видимо, и весь мой вид, и сообщение о состоянии больного, о «кислородной недостаточности» больницы предвещали появление чего-то нового, что рождается в долгих и тяжелых муках.

Теперь, спустя сорок лет, история эта видится совершенно определенно как начало рождения **клинической реаниматологии и интенсивной терапии** на Амурской земле. Сейчас это самостоятельные отделения, состоящие из залов и палат с централизованной подачей газов, оснащенных мониторами, дыхательной и другой диагностической и лечебной аппаратурой, имеющие в своем составе экспресс-лаборатории, барокамеры, подразделения экстракорпоральной детоксикации, укомплектованные полным штатом врачей и медсестер. А тогда это был безы-

мянный небольшой изолятор, в котором еле размещались койка с больным, кислородный баллон, дыхательный аппарат, электроотсос, штатив для капельницы, сестринский столик с медикаментами, шприцем и стерильными салфетками и топчан, на который могла присесть, а иногда и прилечь сестра. Поскольку нас всего было 7 человек на оба корпуса больницы, а надо было и здесь находиться круглые сутки, и там давать наркозы при плановых и экстренных операциях, то мы фактически все переселились в больницу и, постоянно подменяя друг друга то тут, то там, лишь временами получали кратковременные «увольнительные» домой.

Вот тут, пожалуй, самое время оглянуться назад и воздать должное нашим первым сестрам-анестезисткам. Самая первая из них, Лариса Рунова, появилась в больнице в январе 1960 года, остальные — Валя Черняева, Галя Носырева, Люба Савельева, Валя Аникина — попозже, но в том же году.

Подобно тому, как хирург не может обойтись без операционной сестры, так и анестезиолог — без сестры-анестезистки. Разумеется, специфика работы вносила профессиональные коррективы, но главное оставалось неизменным — они были асами своего дела и совестью врача: хирург — спокоен за асептику, анестезиолог — за то, что аппаратура в порядке, что в вену больного будет введено то, что надо, сколько надо и когда надо. При этом дисциплина — железная, взаимопомощь — как на фронте.

Но операция, наркоз — дело временное: отстрелялся и свободен. Иное дело интенсивная терапия, когда больной приковал тебя к себе неотступно на дни и недели и, независимо от прогноза, ты должен вместе с ним пройти его тернистый путь либо до спасительного облегчения состояния, либо до его смерти. Вот тут человек и проявляется в полной мере и на прочность натуры, и на профессионализм в самом высоком смысле этого слова.

Без преувеличения скажу, что первая наша пятерка анестезисток в истории с Николаем П., о коем сейчас идет речь, явила собой образец профессионального и человеческого мужества. Врачи приходили, делали свои указания и уходили, а «пахать» приходилось им. График графиком, но ведь их всего пятеро, а больного ни на минуту нельзя оставить одного. Вот и приходилось крутиться всем, как белкам в колесе, забыв про дом, танцы, женихов (ведь это все были молодые девчата!), и не было той ситуации, из которой они не нашли бы выход. Однажды Лариса, которая как-то раз — в иной, спокойной обстановке — на мою просьбу принести портативный наркозный аппарат весом 10 кг с вызовом заявила мне: «Что ж я, по-вашему, и рожать не должна?!», — здесь, в критическую минуту, схватила кислородный баллон высотой в человеческий рост и перенесла из коридора в палату.

Забегая вперед на пять лет, упомяну: когда нас одолели столбняки (за два лета прошло 12 больных) и мы оказались в той же ситуации (изолятор, больной, аппаратное управляемое дыхание), Ада Андрющенко, не имея другого выхода, иногда приходила на дежурство с шестилетней дочкой, и та потом рассказывала в садике, как она в больнице «играла с мальчиком». Все это теперь в далеком прошлом, но не меркнет в памяти, и хочется, чтобы нынешние анестезистки знали, какими были их предшественницы и равнялись на них.

Шло время, дни сменяли ночи, а ночи — дни. Все смешалось, утратило естественные грани и житейские понятия: есть, спать приходилось, когда придется, где придется и сколько придется. А больной все «тяжелел». На седьмые сутки появились признаки эмфиземы легких, а потом началась двусторонняя пневмония (аппаратное дыхание хоть и спасительно, но противоестественно, а отсасывая слизь из дыхательных путей, все равно ведь не проникнешь катетером в каждый мелкий бронх). На четырнадцатые сутки мы чуть не потеряли своего подопечного из-за развившейся острой сердечной недостаточности, грозившей закончиться отеком легких. Но удалось справиться и с этим.

И все это время приходилось не только сохранять

плоть больного, но и поддерживать его дух — ежедневно, вопреки очевидному, объявлять ему о каких-то признаках улучшения состояния, делать какие-то новые назначения, убеждать в неизбежном переломе хода болезни и обязательном выздоровлении. В этом нам очень помогла его лечащий врач-невропатолог Людмила Николаевна Бормотова. Но основная забота и тут ложилась опять-таки на девичьи плечи анестезисток. Их заботой и усердием больной был всегда побрит, умыт, причесан, они отвлекали его от тяжелых мыслей и вселяли интерес к жизни разговорами, чтением, радиомузыкой, да и просто своим видом и общением.

Главный врач Марина Васильевна Кошелева сама по нескольку раз на день навещала в изолятор, активно искала способы помочь нам и помогала всем, чем могла. Но и она не в силах была сделать главного — подменить нас хоть на сутки кем-то другим. Хирурги, зовя нас на наркоз, делали это с какой-то извинительной ноткой, но и они ведь не могли отменить свои операции из-за нашей предельной усталости. Остальные сослуживцы смотрели на нас как на добровольных мучеников, тактично интересовались состоянием больного, и, вначале изредка, а потом всякий раз, заканчивали разговор одной и той же фразой, произносимой с глубоким вздохом сострадания: «Ведь он же все равно сам никогда не задышит».

Сначала я воспринимал ее как сочувствие ему, больному, потом — как сопереживание нам, которые мучаются вместе с ним. Но однажды мне послышался в ней страшный намек. Я похолодел и немигающе уставился на собеседника. Но он не смутился, не покраснел, не стал оправдываться, и я понял, что ошибся, — передо мной стоял такой же врач, как я, и, оказавшись он в моем положении, также до конца нес бы свой крест, не помышляя, как от него избавиться.

Самых же нас больше всего угнетала безысходность. День за днем уверяя Николая в том, что ему становится лучше, мы-то сами видели, что на самом деле все обстоит иначе. Невропатологи сокрушались, что им не известен случай ремиссии при такой форме рассеянного энцефаломиелита. Мы оказались в положении того солдата, который, изнемогая от усталости, несет на себе смертельно раненного товарища и не может его оставить, пока он жив.

Ситуация была настолько безнадежной, а мы настолько измочалены, что, когда на 16-й день у больного появились глотательные движения, мы не поверили собственным глазам. Но еще через два дня появились первые движения диафрагмы, а еще через два — и межреберных мышц.

При всем моем неверии в чудеса, я, наверное, впервые поверил в существование если не высшего разума, то уж точно — высшей справедливости. Жизнь наполнилась смыслом, ощущением собственной нужности, радостью бытия. А события развивались стремительно, и вся больница вместе с нами не скрывала своей радости, когда на 21-е сутки наш пациент периодически, на один — два часа, стал отключаться от аппарата, на 23-и — дышал самостоятельно целых восемь часов подряд, а на 25-е — полностью перешел на самостоятельное дыхание.

Это была победа — победа рождающейся амурской реаниматологии, нашей областной больницы, нашего совсем еще молодого отделения, нашего чувства долга и духа. Мы не знали и не могли знать, чем эта история закончится, потому что прежде не было такого метода лечения, и больные в подобном положении погибали в первый день от остановки дыхания. По той же причине и невропатологи не могли прогнозировать восстановления тонуса дыхательных мышц, но мы боролись за жизнь этого человека до конца, и судьба вознаградила нас за наше упорство.

Через месяц Николай П. выписался из больницы и уехал к себе в Зейский район. А через год в письме Людмиле Николаевне сообщил, что на районных соревнованиях по стрельбе занял второе место. Нам он привета не передал. Тогда меня это огорчило, но потом я многократно

убеждался, что больные реаниматологов не помнят и, если встретят на улице, то и не узнают. Пока они находятся между небом и землей, им не до запоминания наших имен, не до разглядывания наших лиц, которые, кстати, почти всегда закрыты масками. А как только становится легче, они уходят в свои профильные отделения и лечатся у своих врачей, которых потом помнят и любят. Так что все нормально, мы к этому привыкли, и обижаться тут не на что. Единственной наградой после завершения этой эпопеи было то, что я, наконец, пришел домой, лег на свою кровать и, ни о чем не думая, беззаботно проспал целые сутки.

Второе рождение

Об этом дне мы мечтали четыре года.

Как только в 1960 году мир облетела весть об успешной реанимации, то есть о возвращении к жизни человека из состояния, которое всегда считали смертью, и стало известно, как она делается, — не было случая, чтобы кто-то из сограждан на наших глазах ушел безвременно в мир иной без нашей попытки воспрепятствовать этому.

При констатации остановки сердца и дыхания у пациента мы тотчас приступали к реанимационным мероприятиям и проводили их с предельным рвением. Нередко сердце удавалось «завести», восстанавливалось спонтанное дыхание, и реанимацию можно было бы считать состоявшейся — если бы восстановилось еще и сознание. Но, увы, его-то всегда и не хватало: человек жил еще несколько суток и умирал, так и не узнав о наших героических усилиях подарить ему вторую жизнь. Помня о роковых пяти минутах, после которых клетки коры головного мозга гибнут от кислородного голода, мы старались не упустить ни секунды, стремглав неслись куда угодно и начинали реанимировать в любых условиях, но результат был всегда один — сердце то «заводилось», то не «заводилось», но мозг угасал навсегда. А так хотелось, чтобы человек ожил по-настоящему! Ведь, помимо спасения одной человеческой жизни, это было бы и конкретным свершением извечной человеческой мечты, которое только теперь стало реально возможным. И если кому-то уже удастся возвращать людей с «того света», так почему же это никак не получается у нас?!

То морозное солнечное утро 12 января 1965 года не предвещало ничего необычного. Был вторник, плановый операционный день, анестезиологи уже ввели больных в наркоз, хирурги начали операции. Не помню, по какой необходимости, около 10 часов я оказался в ординаторской хирургического отделения, когда там распахнулась дверь и испуганный больной позвал нас срочно зайти в соседнюю палату.

Когда мы, трое или четверо врачей, вбежали туда, то на первой койке слева увидели бездыханного мужчину средних лет, с «капельницей», наполовину наполненной какой-то бурой жидкостью. Не обнаружив у него пульса на сонной артерии, мы в одно мгновение переместили его на пол и тотчас приступили к закрытому массажу сердца и искусственному дыханию «рот в рот». Кто-то побежал в операционный блок за реанимационной кассетой и анестезиологической подмогой. Через несколько минут Борис Пятницкий заинтубировал ему трахею и наладил полноценное управляемое дыхание. Ввели внутрисердечно адреналин — никакого результата.

Тогда, к ужасу не успевших выскочить из палаты больных, без обработки операционного поля, по четвертому межреберью слева — разрезом от грудины до лопаточной линии — вскрыли грудную клетку, развели ребра и начали открытый массаж сердца. Определив, что миокард дряблый, ввели в полость левого желудочка смесь глюкозы и хлористого кальция, а затем повторно адреналин. Началась фибрилляция. Сбегали за дефибриллятором, дали разряд 5 кВ — и сердце заработало.

Пока зашивали грудную клетку выяснили, что это был больной С.Д., 36 лет, доставленный три дня назад «скорой помощью» с подозрением на желудочное кровотечение. Поскольку состояние пациента было вполне удовлетворительное, никаких срочных мер принимать не стали, прописали ему постельный режим и гемостатическую терапию — с тем, чтобы через неделю провести рентгенологическое обследование желудка. Нынче утром ему поставили «капельницу»: перелили ампулу крови, а потом долили туда глюкозу. Чувствовал он себя хорошо, никаких жалоб не предъявлял. И вдруг внезапно вздрогнул, потерял сознание и перестал дышать. Это сразу заметили соседи по палате, позвали нас.

Надежд на то, что наш новый «оживленный» выживет, не было почти никаких. Ведь бывало, что у некоторых реанимацию начинали в операционной сразу после остановки сердца, «заводили» его в считанные минуты, и то они не оживали. А тут — до начала реанимации прошло минут пять, сама она проводилась не менее получаса, да еще в таких условиях... Но и впрямь — надежда умирает последней. Больного перевели в небольшую послеоперационную палату, ушитую рану грудной клетки обкололи пенициллином, для профилактики нарушений дыхания из-за возможного западания корня языка наложили трахеостому, подвели к ней кислород, сделали назначения и оставили нашего пациента на попечение дежурной службы.

И вот, около двух часов ночи, когда в отделении все — и больные, и персонал — мирно спали, тишину взорвал страшный грохот. Наш оживленный пришел в сознание, встал с кровати, опрокинул стоящий рядом кислородный баллон (благо, не на кого-нибудь, а на каменный пол), и этим грохотом возвестил о своем воскрешении.

Следующим утром, единственный раз за всю историю областной больницы, у входа в хирургическое отделение был установлен контрольно-пропускной пункт, так как количество желающих посмотреть на «воскресшего» многократно превышало пропускные возможности отделения.

В десять утра начались консультации. Нервно-психический статус реанимированного исследовала заведующая нервным отделением, высокоинтеллигентная женщина строгих правил.

— Как вас зовут?

— С.Д. (полностью).

— Сколько вам лет?

— Тридцать шесть.

— Где вы живете?

— В Призейском.

— Кем работаете?

— Охранником моста.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Рыбачу.

— А охотитесь?

Мрачное лицо С.Д. озарила широкая улыбка:

— В основном за бабами.

После этого был проведен весь комплекс неврологического обследования, и в заключении, в частности, была записана фраза «психически здоров».

На ЭКГ обнаружился обширный трансмуральный инфаркт передней стенки левого желудочка, и было решено, что он-то и явился причиной остановки сердца.

Как тогда я не верил в эту версию, так не верю в нее и сейчас — при инфаркте и остановка, и восстановление сердечной деятельности проходят по-иному. Вероятнее всего это была эмболия: из «капельницы» залетел куда-то в очень чувствительное место эмбол и вызвал рефлекторную остановку. Но поскольку это ничего не меняло в дальнейшем лечении больного, не стал вступать в споры с тогдашними нашими корифеями, которых все равно не переубедишь. А инфаркт обнаружился как раз в том месте, куда я вводил хлористый кальций. После этого я всем своим коллегам и студентам всегда внушал: не вводите внутрисердечно хлористый кальций, миокард к нему очень чувствителен, и достаточно микрокапельки в пункционном канале, чтобы развился обширный некроз;

если надо, введите в десять раз больше, но в вену.

Больного поместили в изолятор. Хирурги делали плевральные пункции и наблюдали за состоянием раны (кстати, зажила она первичным натяжением), терапевты лечили инфаркт. А мы смотрели на него и испытывали то же смешанное чувство изумления и недоумения, которое испытывает молодой отец, глядя на новорожденного ребенка: и чего я такого особенного сделал, что появился живой человек, но в то же время он есть — вот он! Да, мы сделали несколько не очень сложных лечебных манипуляций и операций, ввели ему некоторые медикаменты. Но ведь он же находился в состоянии, которое до сих пор всегда считалось смертью, — а теперь он жив!

Через месяц мы демонстрировали С.Д. на заседании хирургического общества. Зал ломился от врачей и студентов — всем хотелось своими глазами увидеть человека, начавшего вторую жизнь после остановки сердца и дыхания, убедиться в том, что реанимация — это не миф, а реальность.

С тех пор минуло более трех десятков лет. За это время у нас было множество реанимаций, в том числе и успешных. Все они растворились в общем бурном потоке врачебных будней, и сегодня трудно вспомнить, когда что было. Но 12 января стал для меня вторым днем рождения. Да, не только для С.Д., но и для меня — реаниматора.

УЛЫБКИ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Раньше заграничные турпоездки очень отличались от нынешних. Обменных денег хватало только на сувениры, государство очень заботилось о нашей нравственности, и поэтому волей-неволей приходилось заниматься истинным туризмом, который компенсировал неутоленную жажу бытового меркантилизма. Каждая поездка оставляла массу впечатлений, которые потом воплощались в путевые заметки и стихи. Но в кругу друзей я чаще рассказывал забавные истории, основой которых обычно были речевые курьезы из-за неполного знания иностранцами русского языка и фантастического нашего незнания никакого другого, кроме своего. Рассказы эти пользовались неизменным успехом, что и побудило расширить круг слушателей. Рискну рассказать пока несколько историй, а там посмотрим: понравится — можно будет еще кое-что вспомнить.

Неизгладимое впечатление

В конце 80-х, будучи в Хабаровске, зашел в универсам и вместо привычного благовещенского «мыло по талонам» читаю: «мыло по приглашению». Сначала умилило, а потом рассмешило — вспомнился еще один эвфемизм, который не в пример этому, мыльному, считаю шедевром благоречия.

В октябре 1957 года я впервые очутился за границей — переправившись через речку Хасан, наша туристическая группа ступила на землю Северной Кореи. Встретили нас как лучших друзей, своих освободителей и защитников, предоставили чуть ли не единственный купейный мягкий вагон и повезли по стране. Поездка была потрясающе интересной. Уже само осознание, что я нахожусь в другой стране, где люди — их вид, манера держаться, общаться, передвигаться — были иными, чем у нас, не переставало удивлять своей необычностью. Поражал и контраст между тем, что дал Всевышний этой благодатной

лога. Я не собираю в этот день гостей, никак его не отмечаю. Но всегда вспоминаю то солнечное утро и благодарю судьбу за то, что направила меня в медицину. Ведь какая другая профессия позволила бы мне так близко прикоснуться к величайшей тайне Природы — тайне Жизни и Смерти?!

Медицина всегда служила продлению жизни человека, предотвращению его преждевременной смерти. Но чтобы вернуть его оттуда?!.. Впрочем, люди всегда догадывались о том, что смерть есть процесс не мгновенный, а постепенный и, если его остановить на определенном уровне, то возможно повернуть все вспять. Отсюда — все мифы, легенды, сказки о воскрешении из мертвых. И как не благодарить судьбу за то, что начало моего врачевания пришлось как раз на то время, когда эта извечная мечта человечества получила научное обоснование, стала реально осуществима, и мы оказались в первой шеренге тех, кто сделал ее былью.

Шестидесятые годы двадцатого столетия ознаменовались для человечества тремя событиями непреходящего значения. Двум из них — полету в космос и пересадке сердца — мы были современниками, третьему — успешной реанимации человека — соучастниками. А это — уже великое везение.

земле и что сделали с ней люди: с одной стороны природа и климат не хуже нашего Крыма, а с другой — следы разрушительной войны, унесшей жизни четверти ее населения. И хотя к тому времени, как закончилась эта бойня, прошло уже четыре года и наш гид Цой Хи Рен старался показывать нам только светлые стороны жизни и быта своего народа, последствия недавней трагедии сами выступали отовсюду. Это и бомбовые воронки по обеим сторонам дороги, и почти полностью разрушенный Вонсан, и одухотворенность простых людей, и многое другое, что вызывало у нас знакомое ощущение пережитой беды и одержанной победы.

Но вот, в завершение нашего путешествия, мы приехали в райский уголок земли — Алмазные горы, что по-корейски называются не менее поэтично: Кымгансан, «горы, отсвечивающие золотом», — где сама природа предрасполагает забыть о земной суете и предаться душой возвышенному и прекрасному. Это действительно не сравнимые ни с какими другими по своей красоте и своеобразию горы, которые поражают воображение с первого взгляда на них и с невероятной силой влекут к своим таинственным вершинам, ущельям, водопадам. Поэтому естественным нашим желанием было скорее побросать свои сумки и чемоданы и окунуться в этот волшебный мир земной красоты.

Но не тут-то было: Цой строго-настрого приказал нам оставаться в пределах турбазы, а сам раскрыл толстый корейско-русский словарь и стал что-то усиленно искать.

— Товарищ Цой, — подступался к нему руководитель нашей группы, — что вы там ищете? Давайте мы вам подскажем и — в путь...

Но тот только вежливо отмахивался от предлагаемой помощи и продолжал заниматься своим делом.

Прояснилось все только на следующий день. Дело в том, что тут южнее проходила 38-я параллель — граница Северной и Южной Кореи. И хотя туристские тропы были проверены, кое-где в горах еще оставались мины. Так вот, задачей гида было предупредить нас, чтобы мы строго придерживались маршрута и не шатались где попало. Но сказать о том прямо, что мы здесь можем взорваться, умереть, он не мог. Во-первых, этого не допускал его восточный этикет, а во-вторых, он четко соблюдал инст-

рукцию, согласно которой настроение советских туристов во все время их пребывания в Корее должно быть только хорошим, в то время как такое сообщение могло нам его омрачить. Но предупредить нас об опасности он все же был обязан. Вот он и решал мучительную дилемму: как повысить нашу бдительность и не испортить нам настроения. И, к чести его, он блестяще решил эту задачу.

Назавтра утром он собрал нас и произнес такую речь: — Товарищи, всех, кто захочет искать здесь уединенное место, прошу звать меня с собой. Иначе вы можете наступить на мину и получить неизгладимое впечатление.

Вот это был образец истинной заботы о человеке.

Постскрипtum

Впрочем, Цой во все времена нашего путешествия не переставал удивлять и восхищать нас великолепным, для человека никогда не бывавшего в Союзе, знанием русского языка, стремлением влюбить нас в свою страну, заботой о нашем душевном комфорте, все это органично сочетая с инструкциями своего начальства. Для того чтобы оценить его в полной мере, надо было видеть, как он тотчас, без словаря, находил единственно верный выход из сложнейших ситуаций и как ответственно относился к своей роли старшего гида советских туристов.

Вот он ведет нас по горным тропкам, тщательно обходя стороной буддийские храмы, которые существовали в Алмазных горах чуть ли не со времени появления буддизма. И вдруг перед нами высеченный на скале огромный, поросший мхом иероглиф, которому, наверное, лет тысяча.

— Товарищ Цой, что там написано?

Цой всматривается и сильно морщит лоб. Мы уже знаем — если морщит лоб, значит, соображает. Конечно, он сразу понял, что там написано. Но опять дилемма: там — что-то религиозное, мы — атеисты, это нам может не понравиться, его же задача — сделать так, чтобы нам в Корее все нравилось. Проходит несколько секунд, и вдруг Цой, якобы прочитав, облегченно вздыхает, складки на лбу расправляются. Его наконец осенило — ведь мы же все равно ничего не понимаем в корейских иероглифах.

— А-а-а, — радостно восклицает он, — да здравствует советско-корейская дружба!

Все довольны. Поход продолжается.

* * *

В Корее уже и тогда к туризму относились серьезно — во всех местах нашего пребывания, помимо старшего, был и местный гид, умевший в лучшем виде представить свою округу. Таковым в Алмазных горах у нас был Пак, пожилой кореец, проживший двадцать лет во Владивостоке и, разумеется, досконально знавший нас, наш язык и интересы. Но еще лучше знал он Кымгансан, и для нас было большим везением познавать с таким гидом этот живописнейший уголок земной природы. Цой относился к нему уважительно, но не упускал случая подчеркнуть, что все-таки старший здесь — он.

— Вот речка, — загадочно улыбается Пак. — Раз есть речка, значит, должна быть рыба. А где она? Ни одной рыбки нет!

Речка прозрачна насквозь, дно просматривается до мельчайшего камешка, и действительно — никакой живности.

И тут начинается очередная легенда. Оказывается, когда-то в этой речке водилась рыба. Но неподалеку был буддийский храм, и там воспитывали молодых монахов.

— Монахи — это корейские попы, — уточняет Цой, с ударением на «о».

Буддийские монахи — вегетарианцы, но у некоторых учеников чревоугодие брало верх над обетом, и они по ночам ловили здесь рыбу, варили ее и ели. Так вот, чтобы раз и навсегда избавить их от этого искушения, однажды их учитель, старый монах, написал на дощечке заклинание,

бросил его в воду, и рыба исчезла.

— Но вообще-то, — доверительно признается Пак, — мелкая рыбешка здесь иногда водится.

— С приходом в Корею марксизма-ленинизма, — вносит заключительный комментарий Цой, — рыба снова появилась.

Вслед за гидами переходим речку вброд и идем дальше.

* * *

У Цоя была своя градация значимости иностранцев — он оценивал их не по рангу, не по социальному положению и даже не по национальности, а исключительно по международному авторитету страны их проживания, имея в виду, разумеется, только соцлагерь (о проклятом империализме и его приспешниках вообще не могло быть и речи). Так, однажды в Алмазных горах он вежливо выдворил из ресторана группу работников монгольского посольства, заявив им, что советские туристы хотят есть (не сравнить же Советский Союз с Монголией!).

Мы узнавали о таких его выходках постфактум и всякий раз убедительно просили не выделять нас. Он клялся, что больше подобное не повторится, но был верен себе и гнул свою линию до конца, в душе, видимо, считая себя третьим человеком в Корее (после Ким Ир Сена и генерального директора корейского «Интуриста»).

Однажды утром, перед походом в горы, он спросил, не хотим ли мы сегодня вечером сходить в кино. Мы поначалу загорелись: корейский фильм — это же интересно. Но тут же узнаем, что это «Без вести пропавший» советско-чешского производства, который все мы недавно видели (стоило ли ехать в Корею, чтобы смотреть там свои фильмы?).

— А во сколько начало?

— В семь.

— Ну, ладно, успеем — пойдем, не успеем — не пойдем.

Весь день провели в горах. Вернулись на турбазу только в половине шестого. Пока окунулись в горячие источники, пока то да се, и только к семи часам сели ужинать, единодушно молча решив, что в кино не пойдем.

Кормили нас отменно и ежевечерне потчевали женьшеневой водкой. Цой уверял, что каждая рюмка такой водки прибавляет год жизни. Это ни у кого не вызывало сомнений, и поскольку вся мужская половина группы захотела дожить не менее чем до двухсот лет, то никто и не спешил покидать это веселое застолье.

Цой активно поддерживал компанию, рассказывал захватывающие истории из туристской жизни, в которой его подопечные, то есть наши соотечественники, перепивали всех остальных, а потом незаметно исчез. И вдруг, где-то в девятом часу в приоткрытую дверь просовывает голову молодая корейка и на ломаном русском спрашивает: Товарищи, когда вы пойдете в кино?

— Какое кино? Кино же в семь.

— А Цой сказал без вас не начинать.

Как ошпаренные, мы выскочили на улицу, где уже рычал наш автобус. А впереди ведь еще три километра пути, и, увы, не по асфальту...

Кинотеатр — летнее дощатое строение с экраном и деревянными скамейками — был полон ожидающего люда, где, помимо аборигенов, — о ужас! — около двух часов томилась еще и венгерская туристическая группа (а ведь это был 1957 год!). Посреди зала три незанятых скамейки были накрыты одеялами. Понутив головы, мы попытались поскорее занять свои места. Но, как и следовало ожидать, вначале нас оглушили бурные аплодисменты, и только после этого начался фильм.

Невесть откуда тотчас появился Цой, занял место среди наших дам, у которых он пользовался повышенным авторитетом, и, несмотря на то, что мы понимали все происходящее на экране никак не хуже его, на весь зал стал комментировать фильм. И вдруг умолк, а потом тихо спросил:

— А почему он ее в глаза целует? У вас что, так принято?

— Ну, по-всякому бывает. А у вас что, разве не целуют?

— Нет, глазами только сигнализируют.

— Как, совсем не целуют?

— Ну... в последний момент.

Дамы в восторге. Цой на высоте. Фильм продолжается.

* * *

И, наконец, прощальный банкет в Пхеньяне с участием генерального директора «Интуриста». После обмена официальными тостами слово взял Цой. Он произнес пламенную самокритичную речь, сказал, что счастлив работать с советскими туристами, однако еще очень плохо знает русский язык и поэтому не смог рассказать нам и сотой доли о прелестях Кореи, но всю оставшуюся жизнь посвятит делу укрепления нашей дружбы, и в заключение предложил тост: «За великий Советский Союз, за великий советский народ, за великих советских туристов!».

Великие советские туристы не стали возражать, поблагодарили хозяев за дружеский прием, попрощались и поехали домой.

Акценты

Летом 1958 года, совершив недельное турне по Польше, воочию увидев еще полуразрушенную Варшаву и чудом спасенный Краков, вдоволь наслушавшись хоть родственной, но малопонятной для нашего слуха речи, мы, в сопровождении польских пограничников, перешли по мосту небольшую речку и очутились в Чехословакии. Начальник погранзаставы на чистом русском языке, правда, с заметным словацким акцентом, дружески поприветствовал нас, поздравил со вступлением на землю Гуса и Гашека и проводил до ожидавшегося неподалеку автобуса. Едва мы расселись по местам, как одна из наших спутниц глубокомысленно заметила: «А все-таки насколько чехословацкий язык понятнее польского», — чем вызвала всеобщий восторг.

Так, при первом знакомстве с Чехословакией, акцент сделал совершенно понятными наши языки. Но спустя несколько дней другой акцент чуть было не совершил нечто обратное.

Собираясь в эту поездку, я лелеял мечту побывать в трактире «У чаши», известном во всем мире как кабачок Швейка. И вот мы в Праге. Еще до приезда туда я стал искать себе попутчика. Наша туристическая группа состояла из амурчан и латышей. Среди земляков компаньона мне не нашлось — женщины для этой цели не годились, а из мужчин, каждый из которых был намного старше меня, никто не увлекся моим замыслом. И когда я почти готов был пуститься на поиски заветного кабачка в одиночку, мне удалось уговорить молодого рослого латыша Яна. Отношение к нам, советским, со стороны пражан было настолько доброжелательным, что руководитель группы с легким сердцем отпустил нас в город на весь вечер.

С помощью прохожих и проезжих, где пешком, где на колесах, пользуясь единственным паролем — «Швейк», — где-то через час мы добрались-таки до этого исторического места. Вошли — все как у Гашека: деревянные столы, скамейки, портрет Франца-Иосифа, полно народу, шум, гам, звон кружек. Знамение нового времени состояло лишь в том, что портрет императора не был обсижен мухами, а рядом с ним висел портрет Ярослава Гашека, и по всем стенам в самых разнообразных видах был размалеван «вояка» Швейк. И надо же быть такому везению — два места под портретами, те самые, где любил сидеть Швейк, то бишь Гашек, оказались свободными.

Сели. Ждем. Подошел официант, и не успел я раскрыть рот, как мой спутник заказал по кружке пива и что-то из закуски. Тот кивнул и ушел, как нам после показалось, навсегда. Более получаса к нам никто не подошел и ничего

не принес, хотя у соседней справа и слева кружки опустошались одна за другой. Стало ясно, что нас игнорируют. Настроение упало до нуля, и мы решили уйти. Уже и встали. И вдруг перед нами то ли случайно, то ли нарочно возникло лицо официанта, который брал у нас заказ. На лице этом было что угодно, кроме извинения. И тут я ему вежливо, но с нескрываемым упреком возьми да и скажи:

— Ведь вы же обещали нам пиво принести...

Выражение лица его мгновенно изменилось, стало почти испуганным.

— Вы кто? — спросил он.

— Советские туристы, — ответил я.

— Момент, — почти крикнул он, жестом попросил нас сесть и исчез. Через несколько минут он подвел к нам солидного мужчину и представил:

— Пан директор.

— Извините ради Бога, — сказал директор, — ведь мы вас приняли за немцев.

Все прояснилось: заказывал Ян, и его латышский акцент был принят за немецкий.

Пировали мы в компании директора знаменитого кабачка. Было выпито море отличного чешского пива, произнесены тосты за дружбу, сказано много душевных слов, которые понимались где по смыслу, где по наитию. В расплате нам категорически отказали. Директор вместе с официантом проводили нас до трамвая и пригласили еще заходить в любое время.

Это был 1958 год. Тогда в центре Праги на гранитном пьедестале стоял советский танк, тот самый, который в мае 1945-го первым ворвался в город, и у его подножья всегда лежали живые цветы. Много цветов. Но вот, спустя десять лет, в августе 1968-го в Прагу снова вошли наши танки. И цветов у памятника не стало. А сейчас, наверное, нет и самого памятника.

Полиглоты

Плыли мы как-то по Дунаю на теплоходе «Дунай». Теплоход комфортабельный, красивый, вместительный, и туристических групп не нем разместилось множество, так что мы за две недели круиза и в лицо-то далеко не всех знали. Плыли мы, плыли и доплыли до самой Вены.

Теплоход встал у причала и служил нам гостиницей. Днем нас возили на экскурсии, а по вечерам мы опять собирались все вместе. Но вот за день до отплытия нам с утра предоставили свободное время, но строго предупредили, чтобы в 12 часов все были на теплоходе. Если кого не будет, начнутся розыски, а это было чревато неприятностями в будущем.

Поскольку с инвалютой у нас, как всегда, было туго, мы послушались совета своих гидов, не поехали в центральные дорогие магазины, а пошли по частным портальным лавкам, ходили небольшими группами по три-четыре человека. В нашей компании, кроме нас с женой, была еще наша знакомая Н.

Часам к одиннадцати все наши шиллинги были растрачены, и мы направились «домой». Но, проплутав среди портальных строений с полчаса, так и не вышли к берегу. Вот вроде бы и рядом где-то, а все какие-то заборы, загородки, склады преграждают дорогу и никак не дают выйти к трапу.

Когда до двенадцати осталось минут пятнадцать, мы забеспокоились не на шутку. Вдруг видим, в стороне идут четыре венки. Наша спутница, будучи резвее нас, ринулась к ним и, заменяя слова жестами, стала их расспрашивать, где находится наш «Дунай».

— Дунай, Дунай, ну... не река Дунай, а теплоход «Дунай»... Ту-у-у... — протяжно загудела она, подняв указательный палец кверху.

Венки переглянулись, и одна из них говорит:

— Похоже, они наш теплоход разыскивают.

Так вместе и вернулись.

* * *

Наше знакомство с Испанией началось с поездки в Сеговию, город-музей, с его знаменитым акведуком — водопроводом, построенным еще рабами Рима, — замком-алькасаром, напоминающим несущийся вперед огромный корабль, и капитолийской волчицей, точной копией римской, которую римляне подарили городу в год его тысячелетия.

Насмотревшись на саму историю и нафотографировавшись на ее фоне, мы в должный час собрались в уютном ресторанчике, где нас потчевали фирменным блюдом — жареным молочным поросенком, — запивать которое полагалось молодым красным вином. Вино находилось в большом кувшине, и нам бы его хватило до конца трапезы. Но случилось так, что за нашим столом оказался профессор Кулик, человек в Приамурье известный и инициативный, который тотчас взял кувшин в свои руки и, будучи в ударе от всего увиденного и услышанного за день, стал разливать вино в бокалы и один за другим произносить тосты. Кувшин быстро опустел и, когда надо было запивать, все оказалось выпитым. Тогда я ему и говорю, просто так, для разрядки напряженности:

— Ярослав, ведь ты же человек способный, и суток тебе наверняка хватило, чтобы научиться говорить по-испански. Попросил бы вон ту девушку, чтобы она принесла еще один такой кувшинчик.

И вдруг он рукой зовет к себе официантку. Мы даже вздрогнули и занервничали — что же он ей скажет? Когда она подошла, он ей мило улыбнулся, взял кувшин в руки, заглянул и сказал:

— Тю-тю!

Она поняла, взяла пустой кувшин и принесла полный. Полиглот!

* * *

Перед поездкой в Испанию на инструктаже нас предупредили, чтобы водку мы с собой не брали: во-первых, это было не в духе времени (1985 год!) и наша таможня могла ее просто изъять, а во-вторых, в Испании поят вином с утра до ночи. Последнее было несколько преувеличено: с утра там поят кофе или компотом, а что касается обеда и ужина, то, действительно, сухое виноградное вино лилось в избытке.

Но один наш спутник Х все-таки ухитрился провезти с полдюжины бутылок «Столичной» и регулярно употреблял ее перед едой то ли в одиночку, то ли в узкой компании, что всегда было заметно со стороны. Мужик он был хороший, не выступающий в подпитии, поэтому никто его не осуждал за этот грех.

Но в последний день нашего путешествия, в Мадриде, он, видимо, перебрал своей «родимой» до обеда, да еще хорошо добавил испанского за время оно, и ему вдруг жутко понравилась западная немка, которая, ничего такого не подозревая, сидела неподалеку в окружении своих. Понравилась так, что невтерпеж захотелось познакомиться. Он встал и... направился к ней. Но, чтобы познакомиться с немкой, надо же что-то говорить по-немецки, а по-немецки можно сказать только то, что знаешь...

— Хенде хох! — выпалил он ей в упор, исчерпав при этом, как в известном случае, пятьдесят процентов своего

немецкого лексикона. Немцы на мгновение вздрогнули, но, поняв ситуацию, расхохотались, пригласили гостя за свой стол и спросили:

— Вы кто?

— Интернационал, — ответил наш друг, исчерпав уже окончательно все свои познания в иностранных языках.

— Какой? — не унималась его Дульсинея.

Тогда он подошел к нам и спросил, в какой интернационал мы входим, а, узнав, что ни в какой, очень огорчился.

Прощались они весело и дружелюбно. Остается только догадываться, как весело было там, в ФРГ, когда она рассказывала о своем знакомстве в мадридском ресторане.

Хендехохма!

«Зачем мне нужен русский...»

Лето 1988-го. Разгул гласности. Говорить разрешено всем, все и обо всем. Но можно ли?

— Марья Ивановна, вы читали сегодняшнюю передовицу «Правды»?

— Нет. А что там?

— Там... ой, нет, это не телефонный разговор.

Невесть откуда взялись и сразу стали крылатыми строки:

Товарищ, верь, — пройдет она,

Демократическая гласность,

И в будущем госбезопасность

Припомнит наши имена.

Но страхи страхами, а джинн вырвался на волю. От свободы слова потянуло к свободе действий, к национальному суверенитету. На Кавказе уже грохнул Сумгаит и начался Карабах.

Прибалтика еще не бурлила, но закипала. Во всех трех республиках образовывались народные фронты якобы в защиту перестройки (произносятся два последних слова, лидеры фронтов почти не скрывали ухмылки). Антицентризм быстро перерастал в антисоветизм, а заодно — и в антируссизм. Лидировала Эстония — там по-русски поговорить можно было, пожалуй, только с гидом. В Латвии к нам относились терпимее. Но наиболее активные борцы за независимость выстреливали нам в упор кличку «оккупанты», хотя по всем приметам «оккупируемые» жили намного обустроенней и лучше своих «поработителей».

Из Юрмалы до Рижского аэропорта мы всей семьей добирались на такси. Таксист, молодой веселый латыш, всю дорогу болтал без умолку. По всему было видно, что его просто возбуждала и забавляла сама атмосфера гражданской активности и волновал чисто спортивный интерес — чем все это закончится. В конце пути, перед самым аэропортом, он на прощанье выдал нам такой «прикол»:

— А знаете, зачем мне нужен русский язык? Я часто езжу в Таллин. Дорога длинная, и, если с утра уеду, то обедаю там в кафе. Эстонского языка я не знаю, а эстонцы не знают латышского. Русский знают все. Но, если я обращусь к официантке по-русски, она ко мне вообще не подойдет. Поэтому вначале я обращаюсь к ней по-латышски. Она понимает, кто я, и подходит. А потом мы с ней разговариваем по-русски. Ха-ха-ха...